

С. Н. Булгаков

Победитель – Побежденный



Сергей Булгаков
Победитель – Побежденный

«Public Domain»

1916

Булгаков С. Н.

Победитель – Побежденный / С. Н. Булгаков — «Public Domain»,
1916

ISBN 978-5-04-008001-4

Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей
и исследователей. 1891–1917 гг.

ISBN 978-5-04-008001-4

© Булгаков С. Н., 1916

© Public Domain, 1916

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

С. Н. Булгаков
Победитель – Победенный
(Судьба К. Н. Леонтьева)
По поводу 25-летия со дня кончины
К. Н. Леонтьева (13 ноября 1916 года)

I

К. Леонтьев заканчивает жизнеописание о Климента Зедергольма таким волнующим аккордом: «Мне часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, что такое там, около этого пунцового, сияющего пятна... Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, за близких, страшно особенно за родину...» В этих словах как-то вдруг обнажилась душа Леонтьева, не утишенная тишиной Оптиной, не умирная ее миром, мятущаяся, неуспокоенная. Древний ужас, *terror antiquus*, сторожит ее и объемлет. Зачем же, почему, откуда этот страх здесь, в обители веры, у могилы друга? О чем этот надрывный вопль, невзначай вырвавшийся из раненого сердца? «О чем ты воешь, ветер ночной, о чем ты сетуешь безумно?» Тут чувствуется какое-то откровение о личности, снятие покровов, обнажение тайны: такова стоит она сама пред собой, подавленная и трепещущая. Здесь не случайная обмолвка, о нет: какой-то изначальный и роковой, метафизический и исторический испуг, дребезжащий мотив страха звучит и переливается во всех писаниях Леонтьева: такова его религия, политика, социология. Редко можно у него уловить вдруг сверкнувшую радость, даже простую веселость, но царит туга и напряженность. И замечательно: чем дальше от религии, тем веселее, радостнее. Южным солнцем залиты его великолепные полотна с картинами восточной жизни, и сам он привольно отдается в них влюбленному очарованию, сладострастно впитывая пряную стихию. Но достаточно, чтоб пронеслось дыхание религии, и все темнеет, ложатся черные тени, в душе поселяется страх. *Timor fecit deos*, точнее, *religionem*¹, именно таково было жизненное исповедание Леонтьева. Два лика: светлый, радостный – природный и темный, испуганный – церковный. Таков был этот своеобразный оптинец, в своем роде единственный. Это была вымученная религия, далекая от детской ясности и сердечной простоты². Если во имя веры надо ломать и гнуть

¹ Страх рождает богов, религию (*лат.*) – в античности эта идея восходит к римскому поэту Титу Лукрецию Кару (ок. 95–55 до н. э.), к его натурфилософской поэме «О природе вещей».

² Иногда он проговаривается об этом невзначай, от третьего лица: простому человеку в религии «побеждать нечего; умственно ему не с кем бороться. Ему нужно в деле религии побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (и тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная. Ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, апостолов, св. отцов» (Собр. соч. К. Н. Леонтьева, т. IX, 18–19). Все цитаты делаются по этому, пока первому, собранию сочинений, отредактированному прот. И. И. Фуделем.

естественного человека, то было над чем поработать Леонтьеву, ибо не поскупилась на него природа. Почти суеверное удивление возбуждает сила его ума, недоброго, едкого, прожигающего каким-то холодным огнем. Кажется, что *слишком* умен Леонтьев, что и сам он отравляется терпкостью и язвительностью своего ума. Словно железными зубцами впивается его мысль в предмет, размельчает его и проглатывает. Он познает не эросом, но антиэросом, являясь беспощадным разоблачителем иллюзий. Это он рассеял сладкую грезу панславизма и балканского единения, когда все были ею охвачены. Лучше и беспощаднее Герцена умел он увидеть на лице Европы черты торжествующего мещанства, хотя знал ее несравненно меньше его; да и вообще Леонтьев образован был недостаточно и знал мало сравнительно с тем, чего требовала сила его ума. Быть может, причина этого, помимо жизненных обстоятельств, и в том, что он был слишком горд своим умом, чтобы подвергать себя научной тренировке, по крайней мере вне наличности к тому религиозных побуждений. Поэтому Леонтьев остался неотшлифованным самородком. Он обладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим чувством. Он явственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел неизбежное самовозгорание мещанской цивилизации; здесь он настолько является нашим современником, что можно себе ясно представить, с каким задыхающимся восторгом, недобрый и почти демоническим, он зрел бы пожар ненавистного старого мира... Другую стихию Леонтьева составляет палящая, языческая его чувственность, с которой он влюблен был в мир форм безотносительно к их моральной ценности, черта, которую обычно называют у него эстетическим аморализмом³. В связи с этим стоит его выдающееся художественное дарование, сразу оцененное в 21-летнем студенте Тургеневым. Кто хочет узнать подлинного Леонтьева, должен пережить чары и отраву его беллетристики и через нее увидеть автора. Для того не покажется измышлением самобичевания, если Леонтьев говорит о себе как об «эстете-пантеисте, весьма вдобавок развращенном, сладострастном донельзя, до утонченности, с истинно сатанинской фантазией» (IX, 13), что подтверждается и биографическими данными⁴. По темпераменту, чуждому притом всякой истеричности, по смелости, доходящей до дерзости, Леонтьев, этот вдохновенный проповедник реакции, есть самый независимый и свободный русский писатель, притом принадлежащий к числу самых передовых умов в Европе, наряду, например, с Фр. Ницше. События сделали ныне для каждого ясным, в какой мере он был историческим буревестником, зловещим и страшным. Он не только увидел на лице Европы признаки тления, но он и сам есть живой симптом надвинувшейся духовной катастрофы: явление Леонтьева уже было одним из ранних ее знамений. Обычно считают его славянофилом, «разочарованным», эпигонским. Плохо надетую личину принимают за живое лицо: о чем же всего больше гремит и вопит он в своих писаниях, как не о гниении Европы, о спасении России от зла европеизма, о «надменном культурном русизме», о прогрессе путем реакции, о «подогревании» старого и «подмораживании» нового, о стойких и неподвижных формах жизни! Но нас теперь уже не обманут эти охранительные идеи: от славянофильства, в котором он ценил по-настоящему почти одного Данилевского, да и то больше за его биологизм, и которое, по крайней мере в популярной форме, он с присущей ему злостью ума обозвал однажды «куцой и серой индюшкой, жалобно клохчущей и не знающей, что делать» (VII, 253), у него осталось немного. Он – человек совсем иного духа, другой эпохи, другого мироощуще-

³ В этом впоследствии оказываются у него виноваты все поэты: «Гете, Байрон, Беранже, Пушкин, Батюшков, Лермонтов... Фет... и даже древние поэты... в высшей степени развратили меня. Да и почти все самые лучшие именно поэты – за исключением разве Шиллера и Жуковского – глубокие развратители в эротическом отношении и в отношении гордости... Только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравственности» (Богословский вестник. 1914. III. <С.> 456).

⁴ Ср. единственную по своей меткости характеристику В. В. Розанова: «Неузнанный феномен» (Сборник памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911).

ния. Между духовным уютом и органическим бытом старомосковского особняка и помещицкой усадьбы и этим странничеством разорившегося помещика, врача, дипломата, журналиста, цензора, романиста, послушника легла историческая пропасть, и он смотрит на жизнь уже «с того берега», с *нашего* берега. Леонтьев не только не славянофил, но, вопреки всей своей ненависти к Европе и даже именно в этой ненависти, он европеец, и его нельзя понять вне этого духовного, существенного европеизма. И насколько душу новоевропеизма, от которого с такой страстностью отрицался Леонтьев, составляет гуманизм, то он оказывается причастен и гуманизму, в этом оптинце кипела и бушевала самая подлинная его стихия. Леонтьев был одним из ранних выразителей его назревшего *кризиса* – духовного кризиса всей новоевропейской культуры, как и его хронологически младший собрат Фр. Ницше. Леонтьев весь в Европе и об Европе: для славянского мира он знает лишь слова разъедающей критики и презрения, и даже Россия как таковая для него ценна лишь постольку, поскольку хранит и содержит религиозно-культурное наследие византизма, да есть еще оплот спасительной реакции, сама же она обречена оставаться в состоянии ученичества и пассивного усвоения. А византизм есть, конечно, лишь более раннее лицо Европы же. И чем иступленнее ненависть Леонтьева к «проклятой Европе, стремящейся в бездну саморазрушения еще с конца XVIII века» (VII, 251), тем больше места она занимает в экономике его духа. Это выяснится для нас, если мы сосредоточим внимание на основной особенности мироощущения и мировоззрения Леонтьева, которую он всегда удерживал и в миру, и в монастыре – на его эстетизме. Различие между добром и злом поглощается для него в противоположности красоты и безобразия. И хотя ради православия Леонтьев еще и старается аскетически натянуть на себя хламиду морали, но она постоянно сваливается от нетерпеливого подергивания плеч, этого жеста эстетической брезгливости, столь типичной для великолепного кудиновского барина. В этом отношении Леонтьев является *единственным* во всей русской публицистике, которая всегда была отмечена своеобразной русской болезнью совести, мотивами жалости и покаяния, морализмом, – в нем состоит общая психологическая основа русского народничества всевозможных фасонов. Леонтьев дерзает стать по ту сторону *человеческого* добра и зла, он и в христианстве по возможности обесцвечивает эти мотивы, подчеркивая в нем лишь пессимизм, который не следует искажать розовыми подмалевками. В своем эстетизме он является как бы этическим уродом, но это уродство делает его необыкновенно свободным и смелым во всех суждениях и оценках. Вся культурно-историческая вражда Леонтьева к Европе, его мизоевропеизм⁵, опирается на мотивы эстетические: это объяснение в нелюбви по адресу прозаической дурнушки, скверно и безвкусно к тому же одетой, со стороны пламенного любовника былой красоты⁶, ревниво оплакивающего «растерзавшую свою благо-

⁵ *Мизоевропеизм* (от греч. μισος – ненависть) – ненависть к Европе, европейской цивилизации.

⁶ Вот несколько примеров: «Нет! Я вправе презирать такое бедное и недостойное человечество, без пороков правда, но и без добродетелей, и не хочу ни шагу сделать для подобного прогресса!.. И даже больше: если у меня нет власти, я буду страстно мечтать о поругании идеала всеобщего равенства и всеобщего безумного движения; я буду разрушать такой порядок, если власть имею, ибо я слишком люблю человечество, чтобы желать ему такую спокойную, быть может, но пошлую и унижительную будущность» (VII, 470). «Как мне хочется теперь, в ответ на странное восклицание Достоевского: „О, народы Европы, они не знают, как они нам дороги!“ воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от своего лица и от лица немногих, мне сочувствующих: „О, как мы ненавижим тебя, *современная Европа*, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное, святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием“» (VII, 212). «Не ужасно ли, не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы „коллективно“ и „индивидуально“ на развалинах всего этого прошлого величия? Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки» (V, 26). «О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории. С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; средний рациональный

родную исполинскую грудь» Европу (V, 239). От этой всеевропейской пошлости, которая проникает и в Россию, Леонтьев первоначально спасается на Востоке, и это его эстетическое бегство предвосхищает будущих европейских экзотиков – Пьера Лоти⁷, Гогена⁸ и др. Леонтьев влюбляется в эту восточную экзотику, в эту красочность, примитивность, чувственную негу⁹. И эта способность влюбляться в красочность, из чего бы ни состояли эти цветочные пятна, оставалась у него всегда¹⁰.

европеец в своей смешной одежде, даже неизобразимой в идеальном зеркале искусства, с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному, практической благонамеренностью! Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости пред Богом и нравственного смирения пред идеалом однородного, серого, рабочего, только рабочего, и безбожно бесстрастного человечества. Возможно ли любить такое человечество?» (VI, 268–269).

⁷ *Лоти* Пьер (псевд.; наст. имя – Луи Мари Жюльен Вио; 1850–1923) – французский писатель-романтик, морской офицер; в его творчестве важное место занимает ориенталистская тематика.

⁸ *Гоген* Поль Эжен Анри (1848–1903) – французский художник, уехавший в 1891 г. на Таити в поисках нового искусства среди первобытных народов Океании, где и провел остаток жизни.

⁹ «Я не могу подробно рассказывать здесь, как неприятно был я поражен уже 20 лет назад (в 1869 году) в Болонье контрастом между остатками средневекового величия в соборе, в феодальном университете и т. п., и видом серо-черной, такой же, как везде, уличной, отвратительной, европейской толпы! С какой радостью я, переехавши море, увидел в турецком Эпире, куда я назначен был консулом, иную жизнь, не эту всеобщую, проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака» (VII, 16). Ср. VII, 350–351.

¹⁰ Он с восхищением говорит о Байроне, чья жизнь есть «бешеный и благородный протест против той новоевропейской прозы, признаки которой он видел гениальными очами прозорливости. Он бежал из цивилизованных стран в запущенные тогда и одичалые сады Италии, Испании и Турции. Тогда в Янине еще жил Али-паша Янинский, которого свирепость была *животиснее* серой свирепости французских коммунаров; в Италии в то время было еще восхитительное царство развалин и плюща, калабрийских разбойников, Мадонн и монахов. „Ограниченный“ сардинский король не запирает еще первосвященника римского в ватиканскую тюрьму и не обращал еще с помощью людей *прогресса* всемирного города в простую столицу неважного государства. В Испании боя быков еще не стыдились тогда. И даже сражаясь за Грецию, великий человек не предвидел, что интересная Греция, „корсар в фустанелле“, есть лишь плод азиатского давления, спасительного для поэзии, и что освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет болтать всякий вздор на скамьях афинской говорильни» (VIII, 96).

II

Из того же эстетизма Леонтьева вытекла его теория прогресса в реакции, для спасения красочной сложности жизни и гармонии страданий. «Пора учиться, *как делать реакцию*» (VII, 211), – пламенно и сурово призывает Леонтьев. Замечательно, что пред его пронизательным умом ни разу не стал вопрос: да эстетична ли реакция? Можно ли *красиво* делать реакцию? Но ведь зато он и оставался только мечтателем реакции, словесным ее Наполеоном! Его реакционность есть лишь немотствующий жест эстетической брезгливости, его тяжбы с культурой. Но в мечтаниях своих он, не колеблясь, приносил в жертву демону красоты – человеческие слезы¹¹. Однако как бы ни была бесспорна истина о спасительности страдания, но человек не имеет права, не смеет *желать* его своему ближнему, притязая быть для него Провидением, и тем более по мотивам эстетическим. И здесь, конечно, Леонтьев имеет против себя и православие с его молитвою: «О, еже избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды».

Для своей теории реакционного процесса Леонтьев подыскивает quasi-научное обоснование в излюбленном своем учении об историческом развитии: исторические народы, обладая определенной продолжительностью жизни (около 1000 лет), проходят состояние первоначальной простоты, цветущей сложности и вторичного, или упрощительного, смешения. Он дорожит как научным открытием этой не лишенной пронизательности, но и крайне грубой и биологически упрощенной схемой; настойчиво сличает ее с учением Спенсера (VII, 53) и другими. Какова бы ни была научная ценность этой гипотезы, следует отметить, что она насквозь позитивна и ничем не связана с религиозным мировоззрением Леонтьева, хотя сам он готов находить в ней особую близость к православию и вообще несколько носится с ней. Иногда кажется, что он, рассматривая и православие в качестве охранительного начала, невольно впадает и по отношению к нему в культурно-эстетический и даже государственный утилитаризм (например, VI, 336–337).

¹¹ «Даже на боль и страдания стараюсь смотреть только так, как на *музыкальные* красоты, без которых и картина истории была бы неполна и мертва» (VIII, 98).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.